

В прошлом году в издательстве «СЛОВО/SLOVO» вышла книга нашего обозревателя Станислава Рассадина «Русская литература: от Фонвизина до Бродского».

Изданная внушительным тиражом, она несколько месяцев числится, выражаясь языком книжоторговцев, среди «лидеров продаж». Может быть, отчасти и это подвигло издательство и автора на создание книги «Советская литература: побежденные победители» (название рабочее), которая сейчас готовится к печати.

С любезного разрешения издательства «СЛОВО/SLOVO» мы начинаем публикацию ряда фрагментов книги о драматических моментах истории литературы, а значит, и истории страны. Первый фрагмент — о внутренней драме Михаила Шолохова. Впереди — размышления о Булгакове, Зощенко и Платонове, «деревенщиках», Солженицыне и Шаламове

Четаева. Маяковский. Есенин. Фадеев... Не странно ли узнать, что в перечне самых громких имен писателей-самоубийц пятым мог оказаться Шолохов?

«В порыве откровенности М. Шолохов сказал:

— Мне приходят в голову такие мысли, что потом самому страшно от них становится.

Я воспринял это как признание о мыслях про самоубийство».

Это доносит — в буквальном смысле от слова «донос» — непосредственно Сталину Владимир Ставский, самый бездарный из всех, побывавших на посту генсека Союза писателей. Посетив Шолохова во второй половине 30-х и вызвав на доверительный разговор, он явно готовил арест своего конфидента, опасаясь, однако, давать совет вождю. (В ином случае Ставский не стал церемониться, попросив наркома Ежова «помочь» с Мандельштамом, — и, разумеется, «помогли».) Впрочем, как видим, не исключался и иной исход.

Как известно, вышло иначе. Самоубийство, если и было совершено, то в смысле духов-

ном, — но так очевидно, что шолоховская метаморфоза породила сомнения: да он ли автор «Тихого Дона»?

В 1954 году, то есть много позже того, как в 1928-м возникли и были отвергнуты первые сомнения касательно авторства (и задолго до того, как, с привлечением текстологии и компьютера, нахлынет волна новых), Евгений Шварц заметит, наблюдая и слушая Шолохова на писательском съезде: дескать, никогда не привыкнув, «что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где-то скрыты в ней. Где?.. Теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь».

Притом Шварц — в дневниковой прозе! — не прячет боязливого намека на плагиат: речь лишь о том, что вот, автор великой книги, а так постыдно гаерствует и лизоблудствует! Да и куда более резкий Твардовский не имеет в виду «ничего такого», высказываясь о Шолохове в рабочей тетради одиннадцатую годами позже: «Сколько он наговорил глупостей и пошлостей за это время и сколько он непростительно промолчал,

когда молчать нельзя было, за эти годы. ...Умрет — великий писатель, а пока жив — шут какой-то непонятный».

Впрочем, что до «непростительного» молчания, то высказанное в слух оказывалось куда непростительнее — например, когда Шолохов на XXIII съезде КПСС пожалел, что Синявскому и Даниэлю «мало дали», всего лишь отправив в лагерь: «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двенадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием» (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (Аплодисменты)».

Самое — нет, не этически отвратительное, но любопытное с точки зрения эволюции писателя Шолохова здесь вот что. Говорит тот, кто некогда, да, в сущности, не так уж давно, в четвертой, последней книге «Тихого Дона» не захотел, не смог «перековать» Григория Мелехова. Любимейшего героя. И скрепя сердце, конечно, обрек на неминуемый расстрел как раз по законам «революционного правосознания».

Конечно, сомнения в авторстве «Тихого Дона», романа великого, просто не могли не возникнуть — при такой-то наглядной эволюции Шолохова. В том числе — как писателя.

В самом деле! От еще нескладных, однако живых «Донских рассказов» — взлет к «Тихому Дону». А дальше — все вниз и вниз. Конъюнктурная, отнюдь не на уровне послания Сталину насчет губительности колхозов, но частями все-таки сильная первая часть «Поднятой целины», после чего находится возможность подняться на уровень четвертой книги шолоховского шедевра. Роман «Они сражались за Родину», сочинение беспомощно-балагурное, будто написанное в соавторстве с дедом Шукарем; вещь, которую не хватило сил даже закончить. Шукарина фантазия небеспредельна, а фронтового опыта у полковника Шолохова, не приближавшегося к передовой, не было.

А дальше — жизнь степного помещика, правда, подерживающего безбедно-бездельное существование не собственным хозяйствованием, а попечением ЦК. Молчание, наконец разрешившееся

И если эволюция достаточно стереотипна для истории советской литературы (те же Фадеев, Тихонов, Федин...), то судьба остается загадочной. Почему роман, враждебно встреченный критикой, объявленный антисоветским, беззащитный перед дурными слухами, роман, чей герой, как пушкинская Татьяна, «удрал штуку», отказавшись следовать указаниям даже не самого творца, но тех, в чей безраздельной власти творец находился, — почему этот роман в конце концов был защищен самим Сталиным?

Конечно, можно сделать комплимент сталинскому вкусу, иной раз, что говорить, дававшего о себе знать. Но вряд ли дело в одном только вкусе.

Бунин вспоминал слова, когда-то сказанные ему Чеховым: «— Вот умрет Тол-

тимые. Ни с Шолоховым, ни даже или тем более между собой».

Первая. Вскоре после того, как Блок напишет «Двенадцать», где продемонстрирует поистине «новое отношение к жизни», самого Христа заставив возглавить шайку красногвардейцев, появится его статья «Крушение гуманизма». О том, что это понятие и явление, возникшее на исходе средних веков, «лозунгом которого был человек — свободная человеческая личность», ныне потерпело крах. «...Исход борьбы внутренне решен: побежденной оказалась гуманный цивилизация. Во всем мире звучит колокол антигуманизма... человек становится ближе к стихии...». И — вот знакомые нам слова: «Человек — животное; человек — растение, цветок; в нем сквозят черты чрезвычайной жестокости, как будто не



Станислав РАССАДИН, обозреватель «Новой газеты»

# САМОУБИЙСТВО

## или Крушение гуманизма

Это притом, что на сей счет были-таки колебания. Мало того. На перековке настаивали сильные мира сего, включая Фадеева, да, говорят, и самого Сталина. Тот будто бы даже дал понять, что ежели Шолохов окажется неподатлив, то можно будет, опираясь на слухи о плагиате, подумать о назначении автором «Тихого Дона» другого литератора. А что? Есть ведь сведения, что, осердясь на Крупскую, вождь пригрозил: будет плохо себя вести, назначим вдовой Ленина другого товарища. Скажем, проверенную большевичку Стасову.

Но нет. В доносе Ставского, помимо того, что Шолохов-де сочувствует разоблаченным «врагам народа» из числа земляков, поставляется и такой компромат:

«М. Шолохов рассказал мне, что в конце концов Григорий Мелехов бросает оружие и борьбу.

— Большевиком же его я делать никак не могу».

Смело? Но Шолохов являл куда большую смелость, когда писал Сталину о несчастях, которые коллективизация принесла Дону. Тут же главное, что это говорит художник, понимающий неуступчивые законы искусства.

рассказом «Судьба человека», возвеличенным не по чину. Стертый стиль, вплоть до финальной «скупой мужской слезы»; униженно-балаганное представление о критерии стойкости русского человека. («Я после второй не закусываю» — это в немецком лагере куражится якобы истощенный солдат.) Казалось бы, можно благодарно отметить обращение к наиболее важной теме, к судьбе советских военнопленных, преданных Сталиным, но и оно компромиссно-уклончиво, с нечаянным угодничеством именно сталинскому отношению к «предателям». Ты попади в плен исключительно в бессознательном состоянии, там соверши немыслимый подвиг — тогда, глядишь, родина и простит.

Слухи о плагиате опирались не только на всеочевидную деградацию после «Тихого Дона», но и на то, что предшествовало ему: четырехклассное образование, отсутствие опыта наблюдений, полдозрительная молодость — в двадцать три года да сочинить первую часть одного из лучших романов XX века!.. На это, однако, всегда сыщется контраргумент, знакомый нам хотя бы и по «шекспировскому вопросу»: нам не дано постичь все возможности большого таланта, тем более — гения.

Вообще — лучше бы всего допустить, в частности, по причине отсутствия исчерпывающих доказательств, что «Тихий Дон» написал Шолохов. Это вовсе не исключает того, что могла быть использована и чья-то иная рукопись, как оно, по всей видимости, и было. Допустив, обретаем ситуацию куда более значительную, чем полудетективный сюжет с третейскими судьями и разоблачениями: такая судьба, такая эволюция такого писателя...

стой, все пойдет к черту. — Литература? — И литература...». А прозаик-эмигрант Марк Алданов говорил — уже самому Бунину, рискуя его рассердить, — что великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате». В любом случае некоего рубежа ждали. И дожались?

Русская литература не кончилась, не пошла к черту, но стала, пусть не целиком, иной. И мало что выразило это сильнее и нагляднее «Тихого Дона».

Критик Петр Палиевский, заметив, что в романе зафиксировано «новое отношение к жизни», доказывал это судьбой Аксиньи, изнасилованной собственным отцом: «Какой материал для фрейдиста. Вся последующая жизнь — сплошной подтекст и воспоминание, от которого женщина хочет и не может уйти...»

...Что ж у Шолохова? Это событие просто забыто. ...Чтобы определить характер, оставаться в центре души — об этом смешно и думать».

Не смешно. Даже в условиях простодушной свободы инстинктов, когда насилие — результат этой свободы, а сама Аксинья — словно бы «человек — животное; человек — растение, цветок» (откуда цитаты, вскорости станет ясно), достаточно очевидно, что поруганность определила судьбу Аксиньи. Возможно ли представить ее безмятежное бабье счастье?

Вот, однако же, вывод критика — как он полагает, касающийся исключительно Шолохова: «Формулировать это трудно, и вывод, пожалуй, страшноват, но Шолохов допускает, в наибольший нажим на человека. Считает это нормальным».

Как не вспомнить шолоховские слова насчет двух писателей-лагерников, которых может быть, стоило расстрелять? Но это случится потом и, возможно, как результат развития этого «наибольшего нажима». Пока же...

Возникают две аналогии, вроде бы кричаще несовмес-

человеческой, а животной; черты первобытной нежности — тоже как будто не человеческой, а растительной».

Интеллигент, сверхинтеллигент Александр Александрович Блок всего лишь признает победу того, что отвергало дорогое ему искусство, создаваемое интеллигентами в соответствии с их идеалами. А вот — и это вторая из аналогий — кто победу реализует полностью:

«Каганович у Горького — речь — не делает поправку на аудиторию. Нет интеллигентских рефлексов. Победа за нами!»

Это дневниковая запись Михаила Зощенко, наблюдавшего лично одного из победителей, сталинского наркома.

Неожиданные аналогии? Вернее, неожиданно их сведение вместе? Но любое не-что, одерживающее тотальную победу, доказывает свою тотальность, только проявляясь на уровнях категорически разных. До кажущейся несовместимости.

Когда происходит подобное, многие из интеллигентов спешат избавиться от свойственных им рефлексов (прочим не надо и избавляться по причине отсутствия оных). И вот не уроженец Донщины Шолохов, которому в этом смысле нечего и незачем выдавливать из себя, а одесский еврей Багрицкий, живая интеллигентская и инородческая закомплексованность, живописует в поэме «Февраль», как его лирический герой насилует проститутку, в которой узнал прежде недоступную для него гимназистку. «Я беру тебя за то, что робок / Был мой век, за то, что я зас-тенчив, / За позор моих бездомных предков, / За случайной птицы щебетанье! / Я беру тебя, как мшенье миру, / Из которого не мог я вый-ти!»

И земляк Багрицкого Бабель



или, добавим для добросовестности, его несомненный двойник Лютов, герой «Конармий», в рассказе «Мой первый гусь» давит в себе интеллигентчину. Пумли-во отвергаемый конармейцами как чужеродный очкарик, он завоюет их расположение, уподобясь им же, когда заберет у хозяйки гуся: «Мне жрать надо» — и расплющит его голову сапогом. Пусть старуха с мукою скажет: «Товарищ, я желаю повеситься», зато недавние гонители за эту жестокость немедленно признают за своего: «Парень нам подходящий». И лишь после этого Лютов «громко, как торжествующий глухой», будет читать казакам напечатанную в газете речь Ленина. Точнее, только после этого казаки станут слушать — и Ленина, и Лютова, в коем обнаружилась, проросла социальная близость.

Конечно, с Бабелем, как, впрочем, и с Багрицким, все непростое. Второй из них от воспеания «беспартийного» Уленшпигеля переходит к апологии Дзержинского, добросовестно воспринимая его уроки («...Но если он скажет: «Со-лги», — солги, / Но если он

ханом-головорезом Беталом Калмыковым, захаживает в дом к вурдалаку Ежову или хвалит на писательском съезде литературный стиль Сталина.

Как знаем, не помогло. Не зачли. Раздвоенность интеллигента не вызвала у власти доверия — в отличие от честной цельности Шолохова, кому был прощен (как раз не за цельность ли, не за прямоту?) даже дерзкий протест против бесчинств коллективизаторов. Даже упорство относительно Мелехова, не перешедшего в красный стан.

Хотя последнее как раз могло и понравиться.

Все-таки — что такое «Тихий Дон»? Роман революционный — как, например, «Чапаев» или «Железный поток»?.. Впрочем, сегодня, кажется, все сошлись на том, что — нет, «Тихий Дон» есть произведение законченно антиреволюционное.

На самом деле — ни то, ни другое. По крайней мере и то, и другое — второстепенно.

Григорий Мелехов, перекинувшийся к большевикам, — эка невидаль! Но в качестве побежденного, сломленного врага он должен был ластиться тому, за кем победа, — да не Мишке Кошевому, чье человеческое нич-

Сталин  
подумывал  
о том,  
чтобы  
назначить  
автором  
«Тихого Дона»  
другого  
писателя

# ШОЛОХОВА,

скажет: «Убей», — убей»); слава Богу, что сердце все-таки тянется к участи бедолаги Опанаса. Что же до Бабеля, то убийство птицы — вот максимум, доступный интеллигенту Лютову на пути срачивания с конармейцами. А в рассказе «Смерть Долгушова» он же ставит себя на грань отторжения и, возможно, гибели, не решившись добить безнадежно раненного товарища:

«Афонька... выстрелил Долгушова в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подбежал к казaku, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть».

Или (рассказ «После боя»): «Я изнемог и... пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — умение убить человека».

«Победа за ними!». За теми, кто умеет, допустим, как бабелевский чекист, который был из Москвы в Одессу, дабы обучать местных коллег вести дела «по формам и образцам, утвержденным Главным управлением», и без раздумий расстреливает колоритнейшего старика Фроима Грача: «Ответь мне как чекист... ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?».

Но Фроим все же бандит. У Шолохова ничтожному Мишке Кошевому в том обществе, в котором он намерен существовать, не нужен «казачий Гамлет» Григорий Мелехов...

Итак: «...Побежденным оказалась гуманная цивилизация. Во всем мире звучит колокол антигуманизма...» (Блок). «Победа за ними!» (Зощенко). И тот же Бабель, как его Лютов, неспособный уподобиться в отношении к жизни и, главное, к смерти конармейцу Афоньке или решительному чекисту, все же эпически любит, скажем, главой Кабардино-Балкарии

тожество лишь подчеркивало неодолимость стихии, пылинкой которой он был. Нет, победителю в ином ранге и чине.

Сталин, который имел все основания считать себя воплощением силы, подчинившей эту стихию, объяснил в письме к драматургу-завистнику Биллю Белоцерковскому, почему пьеса Булакова «Дни Турбиных» при всей своей идеологической чуждости создает «впечатление, благоприятное для большевиков». «...Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы».

Если даже такой человек, как Григорий Мелехов, «бросает оружие и борьбу», значит...

Независимо от намерений Шолохова «Тихий Дон» вышел не за и не против, он выразил «жестокость» самой эпохи и силы, восторжествовавшей в ней. И в этом свете — как не понять (простить ли, уж это совсем другой разговор) душевный слом, происшедший с Шолоховым?

Да, душила официозная критика, обвинявшая в «белогвардейщине». Да, подступали органы безопасности, состряпавшие дело об «организаторе контрреволюционного казачьего подполья» — и когда: в страшном 38-м! Но, возможно, главный страх был перед открывшейся самому писателю «жестокостью», не оставлявшей выхода и надежд.

Открытие родило лучший роман о России начала XX столетия, и оно же сломало Шолохова-человека. Определило его драму, каковая — при всей уникальности и почти гротескности перерождения — все-таки только часть общей драмы советской литературы. Или литературы советского периода.

Драмы, так или иначе (то есть, конечно, иначе) коснувшейся и писателя, во всех отношениях Шолохову противоположного, — Михаила Булакова. О чем и о ком — в следующий раз.

Слухи  
о плагиате  
опирались и  
на очевидную  
деградацию  
«зрелого»  
Шолохова

Да, душила  
официозная критика,  
обвинявшая  
в «белогвардейщине». Да, подступали органы безопасности, состряпавшие дело об «организаторе контрреволюционного казачьего подполья» — и когда: в страшном 38-м! Но, возможно, главный страх был перед открывшейся самому писателю «жестокостью» эпохи, не оставлявшей выхода и надежд. Открытие родило лучший роман о России начала XX столетия и оно же сломало Шолохова-человека